

АЛЕКСАНДР
ВЕЛЬТМАН



ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Александр Фомич Вельтман

Алёнушка

Разносторонность интересов и дарований Александра Фомича Вельтмана, многогранность его деятельности поражала современников. Прозаик и поэт, историк и археолог, этнограф и языковед, директор Оружейной палаты, член-корреспондент Российской академии наук, он был добрым другом Пушкина, его произведения положительно оценивали Белинский и Чернышевский, о его творчестве с большой симпатией отзывались Достоевский и Толстой.

В настоящем сборнике представлены повести и рассказы бытового плана ("Аленушка", "Ольга"), романтического "бессарабского" цикла ("Урсул", "Радой", "Костештские скалы"), исторические, а также произведения критико-сатирической направленности ("Неистовый Роланд", "Приезжий из уезда"), перекликающиеся с произведениями Гоголя.

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0010
ПРИМЕЧАНИЯ.....	.0065

Приятель мой Северин, по выражению г-жи Жанлис, *произошел на свет от благородных родителей*, от Петра Ильича и Евлампии Федоровны.

Богач Петр Ильич жил открыто, двор его был всегда полон экипажей, передняя полна слуг, часто в *пунической* ливрее. В одной гостиной зеркала во всю стену отражали образы превосходительств и сиятельств с их семействами, в другой гостиной в золотых рамах заключались головы Рембрандта, неблагопристойности фламандские, огородные овощи Шнейдера, извозчики Орловского, море Вернета, баня Тициана, и все это *оригинальное, нисколько не копия*. Тут же бюст Венеры Калипиги, тут же все амуры, порожденные от Юпитера, от Марса, от Меркурия, от Адониса, от Аполлона, от Зефира, от Александра, амуры с крылышками птичьими, мотыльковыми, без крылышек, вооруженные колчаном, лучком и стрелой, и амуры мирные, не вооруженные. В буфете на сто персон серебра, фаянсу и хрусталя, в кабинете натуральная ис-

тория по части окаменелых грибов, в шкафах в красном переплете фолианты французских писателей прошлого века, за стеклами, и отвратительный крик попугаев по всем окнам, и коверканье африканского *пигмея*.

Много было забот и хлопот у Петра Ильича, но втрое было забот у Евлампии Федоровны. И кто не согласится, что заботы жизни общественной ужасны. Завести знакомства, поддержать знакомства, хитро уклониться от знакомств, уметь принять гостя, уметь выжить гостя, быть многоречивым и не обмолвиться, не отстать от моды, знать ее тоны и приличия, обратить на себя внимание и не показаться странной; знать, кому оказать на деле честь, кому на словах одолжение, и мало ли, мало ли труда и забот; едва достанет времени на отдых и на туалет: весь день на визитах, вся ночь на выставке моды, только от утра, золотого утра, святого утра, скрываются тени в раззолоченные свои гробы.

Безбожно истреблять богатство жизни и потом жаловаться на бедность сил, на слабость здоровья, на небо!

В роскошном быту родился Северин. За

ним ухаживали, его учили подданные трех просвещенных наций Европы, он был вполне предоставлен им; отец и мать жили в водовороте большого света.

Их жизнь стоит описать подробно. Я короток был в доме.

Как ни хорошо, казалось, шли дела Петра Ильича, вокруг него было тепло всем, кто принадлежал к сфере его, однако ж судьба вздумала сделать *надлежащие во всем исправления и перестройки*.

Петру Ильичу не жилось трудами двух тысяч наследственных рук, он вздумал и сам трудиться. Прослышал он, что сосед его, удобрив землю известью, утроил урожай полей, и вздумал удесятерить плодородие своих земель. Сам поехал он распоряжаться в поместье. Закупил на наличный капитал и в долг несколько барок извести, выписал арнаутки, убелил известью свой чернозем, засеял и на другой год проклял все нововведения; на третий год сделал заем под залог имения, на четвертый продал имение за половинную цену, пустил капитал в оборот, по совету истинных друзей своих, и оборотил свое благосостояние

вверх дном.

Таким образом года в два, в три измерял он шагами высоту прежнего своего состояния от поверхности моря.

У Петра Ильича, как у богатого человека, были и долги, и должники; долги без зазрения совести пришли к нему и, как Бальзак, описали дом и все в доме его до нитки, а должники были искренние его приятели, люди в чести и в ходу, которым не напоминают о долгах.

Как ужасна высота, измеряемая расстоянием излишества от недостатка! В какой продолжительный обморок впала Евлампия Федоровна, когда Петр Ильич предложил ей переехать на новоселье. Он нанял, с горем пополам, мещанский домик на канаве. Куда делись гувернеры, *dames de compagnie*, [1] швейцары, *maître d'Hôtel*, *valet de chambre* [2] и весь причет, вся эта моль в человеческих образах.

Затмится счастье, точно как солнце, куда денутся блеск и лучи!

Петр Ильич, как голая истина, перебрался сам-третей из каменных палат под деревянную кровлю. Никто из друзей-должников и не

думал спасти его от потопления. А сам он не просил никого подать ему руку помощи; природа создала его предобрым, пребеззаботным существом, он бы и не призадумался при перемене обстоятельств и квартиры, если б не заставляла его об этом думать насильно жена. Но один искренний из искренних друзей его и честнейший должник многих тысяч, Ксаверий Астафьевич, всегда напоминал ему сам об долге своем и говорил: "Погоди, братец, погоди; только что дела мои примут счастливый оборот, первому тебе уплачу".

— Да ты, братец, дал бы мне хоть частицу покуда.

— Нет, любезный Петр Ильич, я по частям не люблю платить; вот, помедли, все вдруг отдам.

Ленивый от природы и неподвижный, Петр Ильич в счастии своем был похож на ресторатора, у которого можно было получить все gratis.[3] При перемене состояния он продолжал любить свой долгополый, домашний сертук. Посещения сократились, и он возлюбил уединение; а уединение есть мать мудрости.

Из всех книг сохранил он, по завещанию отца, письмовник Курганова. "Петруша, — говорил ему отец, — эту книгу ты, ложась спать, клади под подушку; в ней все есть — и полезное, и приятное! На, на! прочти мне что-нибудь из анекдотов..." Петруша начинал читать: "Старуха, хватя добрую чарку вина, пришла к вечерне и там, задремав, всхрапнула; соседка толкнула се, чтоб проснулась, тогда она возгласила: поднесите внучке, а я более не стану".

И старик хохотал от души: "Да, братец, и забавно, и полезно, тут на всякий случай и предмет есть толкованье; головы ломать не нужно".

В память отца и для того, чтоб иногда извлечь полезное, Петр Ильич берег, как глаз, эту книгу.

Из всей галереи картин сохранил Петр Ильич «Леду». Она всегда висела у него в кабинете против волтеровских кресел, и часто, после обеда, он всматривался на нее в кулак и дивился живому изображению замирания Леды.

С мала он был большой политик; но в большом кругу, где большой расход на речи, иначе и не может быть... Журнальные новости — насущный хлеб разговора. Газетная ложь необходима — где же набраться правды на все человечество. Итак, среда и суббота были посвящены чтению газет. Прохор, верный слуга Петра Ильича и Будхаха, должен был в эти дни раным-рано отправляться за газетами в Университетскую книжную лавку... Прохор знал, чем угодить барину.

Почти у каждого человека есть какая-нибудь странная привычка. Обоняние более всего причудливо в человеке. У Петра Ильича оно было пристрастно к сырым газетам. "Как славно пахнет!" — восклицал всегда Петр Ильич, вдыхая в себя сырость печатную. Петр

Ильич терпеть не мог сухих газет, и в тот день Прохор был и пьяница, и негодяй, в который приносил ему иссохшие листы газет. В предостережение себя от гнева барского Прохор изобрел средство: возвращаясь с газетами домой мимо пруда, он всегда окунал их в воду.

Удовлетворив обоняние, Петр Ильич принимался разрезать газеты и сшивать, а потом уже читал от доски до доски. К вечеру становился он глубоким политиком и удивлял новостями всех, кто имел смелость посетить его в бедном состоянии. "Помилуй, Петр Ильич, — говаривали его посетители, — да откуда ты, сидя дома, собираешь такие сведения?"

С улыбкой самодовольствия Петр Ильич таил, что почерпал все тайны политики из московских газет. Часто, однако ж, он грешил против грамматических правил и употреблял вместо настоящего времени давно прошедшее.

Таков был отец Северина; по индийской пословице *"он слез со слона"*, а по персидской — *"сел на ковер мудрости"*. Но жена его,

низвергнутая судьбою с бельэтажа в партер, выплакала все слезы и долго обмороками своими нарушала спокойствие мужа посреди патетической статьи о каком-нибудь приезде ученика Пинетти или *ultima donna*[4] Италии или Германии, или отставной скрипки капеллы е. к. в.,[5] или терц-виолы и даже несносной дуды.

Евлампия Федоровна была очень чувствительная женщина. Перемена состояния еще более раскрыла в ней источники этого чувства: ей часто делалась дурнота и в мраморных стенах, но в деревянном домике, которого стены обклеены были бумажными обоями, ее нервы каждое мгновение поражались всеми ужасами деревянных домов, вросших в землю. То черный таракан полз задумчиво по стене, то паук опускался с потолка прямо над головою Евлампии Федоровны, то мышь скреблась под ногами.

Без памяти вскрикивала она; без памяти муж бежал к ней с вопросом:

— Что с тобою, *ma chère*?[6]

— Не могу я жить здесь! Я не привыкла жить ни в сарае, ни в погребке, ни в черной из-

бе!

— Тщетно Петр Ильич превращался в утешение.

— Оставьте, сударь, меня! Оставьте с вашими увереньями; я вижу, что вы хотите дожить свой век в этой лачужке... Вы обманули меня! Вы промотали имение Бог знает с кем!.. С какой-нибудь...

— Мой друг, — возражал Петр Ильич, — говори, что хочешь, но чести моей не трогай... Я...

— Что вы, сударь?

— Я этого не снесу! Моя постоянная к тебе привязанность не заслужила таких слов.

— Привязанность! Какое нежное слово! К жене ли чувствовать любовь; с нее довольно и привязанности, когда любовь и деньги расточаются на стороне.

— Я вижу, сударыня, что вы из себя выходите, — произносил хладнокровно Петр Ильич, удерживая гнев свой и вставая с места.

— Оставьте же меня! — вскрикивала повелительным голосом Евлампия Федоровна.

— Бешеную женщину поневоле оста-

вишь! — произносил с сердцем Петр Ильич, собираясь выходить из комнаты; но новый вопль, новый припадок останавливали его, и Петр Ильич забывал незаслуженный упрек Евлампии Федоровны, подбегал к ней, придерживал голову, шептал про себя: "Господи, что за женщина!" Сзывал людей, требовал воды, одеколону, дул в лицо, тер руки. Наконец Евлампия Федоровна приходит в себя, отталкивает мужа, всхлипывает, заливается слезами, жалким голосом произносит:

— Боже, Боже! До чего я дожила! Муж оставляет меня!

— Полно, милый друг, — говорил Петр Ильич со всею сладостию ласки, — полно! кто тебя оставляет.

— Кто оставляет, сударь? Да я всеми оставлена, всеми презрена, никто знать меня не хочет! И кто пойдет в такую лачужку ноги марать? Вам легко переносить презрение; вы, сударь, родились в мещанском быту, а я не рождена терпеть!.. Я требую от вас приданого!

— Приданого? — произносил Петр Ильич вопросительным тоном. — Не родословное ли древо ярославских князей да красную ли-

врею? Возьмите их, сударыня.

И Евлампия Федоровна снова катится без памяти. Опять Петр Ильич хлопочет около нее, подносит к носу склянку; склянка оттолкнута, разлетается вдребезги.

— Господи! Что это за женщина! — повторял Петр Ильич, ходя по комнате и заложив руки назад.

Но вдруг карета гремит под самыми окнами.

— Боже мой! кто-то приехал! Кажется, графиня, — вскрикивал суетливо Петр Ильич.

И семейственная картина внезапно переменялась. Евлампия Федоровна приходит в себя, бежит в спальню; Петр Ильич — в свой кабинет.

Евлампия Федоровна торопится простудить глаза, покрасневшие от слез, надевает чепчик, накидывает платок.

— Боже мой! Идут без доклада! Выбеги, узнай, кто?

— Никого нет, сударыня. Это Прохор подбирает разбитое стекло да вытирает пол.

И Евлампия Федоровна сбрасывает с себя платок, бросается в креслы и опять в отчая-

нии, в слезах.

Но все это простительно чувствительной женщине; она должна быть такова, в ней должны содрогаться все жилки от пауков и тараканов и от всего холодного, даже от холодного благоразумия мужа.

Со всем человек расстается легко, но не легко расстается с привычками, потому что привычки есть нравственные наросты, полипы. Одно средство — вырезать с корнем.

Евлампия Федоровна не могла решиться на операцию. Все мещанское здание загромодила она своим гардеробом; все комнаты, даже кабинет мужа, заставила она картонками и шкафами.

Проснувшись в полдень, она садилась перед своим двухтысячным трюмо, с которым также ни за что не решалась расстаться. Два часа продолжался ее туалет; потом садилась она в креслы перед маленьким столиком на курьих ножках; муж и сын подходили к ее руке пожелать доброго утра, которое уже было за тридевять земель; потом, по старому обычаю, она сидела в каком-то тоскливом ожидании визитов. Если чей-нибудь экипаж проно-

сился по мостовой, она звонила в колокольчик и спрашивала у входящей девки: кто там приехал? Скажи, что нет дома.

— Никого нет, сударыня.

— У вас вечно никого нет, а поминутно кто-нибудь входит ко мне без доклада! — проносила Евлампия Федоровна с сердцем.

Таковы были родители Северина-юноши. Таким образом время проходило, а он жил да жил у отца и матери без науки, без дела; при перемене состояния судьба его забылась. Однако же через несколько лет Петр Ильич вздумал отдать его или в ученье, или в службу. Но, кроме недостатка денег, чтобы отдать в пансион, встречалась тьма других домашних препятствий.

— Хочу я, мой друг, отдать Северина в ученье... что ему бить баклуши дома? — говаривал иногда Петр Ильич жене.

— Позвольте спросить, какому ремеслу хотите вы учить его?

— Не ремеслу, а наукам, мой друг. Отдам в казенную гимназию, попрошу князя...

— Этого никогда не будет, чтоб мой сын был в гимназии!

— Да что ж тут худого?

— Напротив, все прекрасное, да не для моего сына.

— Как хочешь. Пусть будет сын твой дураком!

— Во всяком случае будет умнее вас.

Чтоб избежать бури, Петр Ильич тихо, не говоря ни слова, выкрадывался из комнаты. Время проходило, состояние Петра Ильича не поправлялось: для глухого не две обедни. Горе Евлампии Федоровны истощалось, как дождевое облако. Северину настало двадцать лет, а он еще ходил в курточке. Отец и мать привыкли считать его необходимым в доме, вроде прислуги, по недостатку слуг; притом же сын всегда вернее и исправнее всякого раба. Северин, то прочти папиньке какую-нибудь мелкую печать, то подай маминьке скамейку под ноги, то кликни Прохора, то позови Настьку, и, следовательно, Северин нужен: без него некому было прислужить папиньке, когда маминька в торжественные дни посылает Прохора разнести по Москве около 200 визитных карточек; без него некому было прислужить маминьке, когда Настя едет на реку или

идет в баню.

— Как ты думаешь, мой друг, — скажет иногда Петр Ильич, — пора бы отдать сына в службу?

— Вы так думаете? Я не знаю, чем вам надоел сын! Вы только о том и думаете, как бы его сбыть с рук.

— Но рассуди сама, посмотри на добрых людей. У всех дети в службе; все сверстники Северина поручики да ротмистры, а он-то что?

— Он мой сын, и этого довольно, чтоб я не бросила мальчика на произвол судьбы, без надзора, без денег... Нет! этого не будет!

— Мальчик в двадцать лет!

— Лета ничего не значат; один образуется раньше, другой позже.

— Это правда, но...

— Если правда, то ваше *но* лишнее; да впрочем, кажется, я вам неправды никогда не говорила.

— Эх, мой друг, тут дело идет не о лжи. Ну кто тебе говорил, что ты лжешь?

— Ты лжешь! Что за выражение! От вас ничего не услышишь, кроме грубостей! Вы как

будто век жили в мещанском быту.

— Тебе говори то, а ты свое!

— Я не знаю, отчего я должна говорить чужое, а не свое! Вы, кажется, не дуру взяли за себя!

— Оставим, пожалуйста, разговор.

— Я вас не просила начинать его.

— Но скажи, сделай одолжение, с кем же мне посоветоваться о судьбе сына, как не с женой?

— Очень нужно для того советовать, чтоб не принимать советов; но я знаю вашу цель: вы ищете случая, чтоб огорчать меня.

— Помилуй! Что мне за приятность огорчать тебя!

О, большая приятность! Чем же иначе мужчине показать свое преимущество перед женщиною, как не правом своим всегда делать ей напротив? Вы вполне пользуетесь этим прекрасным правом.

— Уж если я делаю тебе напротив, то позволь же и слова твои понять напротив, потому что все права мужчин подмыты женскими слезами, ниспровергнуты слабостями и истериками.

— Правда ваша, чувствительность сердца много вредит женщинам; она-то и обезоруживает их против ига мужчин.

— Да-с, точно-с, справедливо-с! — отвечает Петр Ильич; ему не приходит в голову промолвить Евлампии Федоровне или, может быть, не желает он промолвить: избави Боже весь земной шар от той чувствительности женщин, о которой имеет право рассуждать медицина. Эта чувствительность ниспослана в числе десяти наказаний на род человеческий.

О воспитание, воспитание! Но что поможет оно тому, в ком природная кровь тщетно борется с чужой кровью, которому нищий может сказать: "Барин, подай милостинку! подай, ты напитался моею долею молока!"

— Однако ж должно же подумать о судьбе сына? — настойчиво продолжал иногда Петр Ильич после долгого, молчания. — Скажи мне свое желание, и я исполню его... по штатской пустишь сына или в военную?

— Я не знаю, кому лучше знать наклонности сына, матери или отцу? — отвечает Евлампия Федоровна.

— По моему мнению, записать его в первый полк, да и с Богом. Теперь же война; отлучится, выйдет в чины...

— Это мнение вы можете отложить в сторону. У кого много детей, тот может жертвовать ими, а у меня один только сын. Я не для того мучилась, переносила болезнь, заботилась о воспитании, чтоб его изувечили или убили.

— Отдадим в штатскую.

— Вы можете его записывать, куда угодно, но я не позволю, чтоб моего сына записали до чахотки.

Таким образом, дело о Северине тянулось с 12-го по 22-й год. За десятилетнею давностью он как будто потерял права на заботы отца и матери, но Евлампия Федоровна умолкла па-веки, и никто уже не противоречил Петру Ильичу определить сына на военную службу.

Вместе с Северином мы сделали кампанию, с ним вместе и приехали в отпуск в Москву. Надо было видеть, как обрадовался старик приезду своего сына.

Несколько дней сряду не отпускал он его от себя ни на шаг и утомил расспросами про

походы в Турции. Наконец, когда любопытство было удовлетворено, жизнь его как будто унялась в первый раз сладостным вином, и он заснул крепким беспробудным сном.

Северин, наследник материнского гардероба и отцовского собрания газет лет за 25, почти случайно нашел в бумагах отцовских заемное письмо Ксаверия Астафьевича, о котором и понятия не имел: заемное письмо на пятьдесят тысяч рублей, с законными процентами.

Северин порадовался находке. Капитал почти удвоился в десять лет. На другой же день он отправился с этим документом к истинному другу своего отца. Был встречен им довольно сухо; воспоминания о дружбе с отцом не согласовались с приемом сына.

— О, — говорил он, — мы были истинные друзья с вашим батюшкой, жили как родные братья: у нас никогда не было счетов между собою.

Эти слова поразили Северина. "Он не помнит о долге!" — думал он.

— Да, да, — продолжал Ксаверий Астафьевич, — мы были с ним друзья, и как жалею я,

что не мог отдать ему последнего долга...

Северин ожил и хотел уже вынуть из кармана заемное письмо.

— Да, — продолжал Ксаверий Астафьевич, — не мог, подагра совершенно приковала меня к креслам; не знаю, вспомнил ли он, умирая, о друге своем?

— Я застал его в некотором роде забывчивости обо всем мирском; только радость видеть меня после долгой разлуки оживила его на несколько часов.

Ксаверий Астафьевич в свою очередь ожил.

— Я думаю, он вам не оставил никакого состояния? Признаюсь, положение его крушило меня, я по силам... что мог...

— Все наследство мое состоит в этом заемном письме, — отвечал Северин, вынимая из кармана бумагу.

— Мое? — вскричал Ксаверий Астафьевич, смущаясь. — Знаю, знаю! это обязательство было сделано на некоторых условиях особенных, частью в поддержание кредита вашего батюшки... Разговор прервался приходом двух пожилых женщин. Девушка лет пятна-

дцати вбежала вслед за ними в комнату.

— Прощай, братец! Мы едем с Еленою.

— Прощайте, папинька! — произнесла девушка, подбежав к отцу и целуя у него руку.

Северин привстал, почтительно поклонился дамам. Сестрицы Ксаверия Астафьевича кивнули головами: Полистан, огражденный огромными шелковыми буклями, заколебался, канительные колосья затрепетали. Но Елена бросила на незнакомца скромный взгляд, опустила очи, отступила шаг назад и исчезла, повторив: прощайте, папинька!

— Это моя дочь, Северин Петрович, — сказал старик, переменяя тон, когда дамы вышли из комнаты. — Рано оставила ее мать, но Божия милость и мой глаз над нею; она у меня добрая девушка. Бог наградил меня счастьем! утешение на старости! Подлинно игрушка в доме! Горе забываешь, смотря на нее!.. Сына Бог не дал; ну, да у кого есть дочь, будет и сын.

Ксаверий Астафьевич описывал свое счастье настоящее; Северин также думал о счастье будущем... не о том счастье, которое надевается на голову, на плеча, на ноги, на шею

или пришиливается к груди, не о том, у которого четыре угла и четыре этажа, прекрасно меблированных, с окрестностями, состоящими из деревьев, рабов и собак, не о том, которое варится, печется и жарится, живет на дне бутылок, стаканов и рюмок, не о том, которое зависит от погоды, не о том, которое похоже на толкучий рынок посреди раззолоченной, разосвещенной залы или гостиной, не о том, которое похоже на подвижные газеты и диссертации, не о счастье, для которого нужны толпы людей и их удивление, но о счастье, которое схватил бы Северин на руки и бежал бы с ним в пустыню, на край света, чтоб там, наедине, впитать свою счастия в уста, утонуть в его объятиях навеки.

Северин думал о Елене.

Посмотрим же и мы на Елену, на эту Пери, облаченную в утреннее румяное облако. Зачем сбросили с нее воздушную одежду? зачем наряжают ее в *мемфис* и в *брильянтин*? зачем эти пестрые *сульфиды* у нее на платье? зачем ее кудри и снежное чело и розы жизни прикрыты *сарацинской* соломой? зачем стан ее обернулся в *гелиополь*? И она подражает

смертным, садится в коляску, садится на откидной скамейке; первые места заняли какие-то две вечности, две археологические статьи, романы прошедшего столетия в новом сафьянном переплете с позолотой и готическими оттисками: это две родные тетки Елены. Они заехали за пятнадцатилетней племянницей, ведут ее на благообразные сатурналии, где плодятся грехи, как черви, где ложь — душа и тело, где вздох окован приличием, где тоска о будущем овладела всеми богатствами радости: улыбкой, светлым взором, ласкою... и бросает их повсюду, как мот золото, как тать чужое достояние; где чужбина в переднем углу, а Русь в передней.

Вот скитаются *андроиды* на паркетных берегах Стикса. Свой ли собственный труд расточают они? или чужой пряник, горсть орехов и праздничный кафтан превращены ими в эту *тьень одежды!*

Посмотрите, как испаряется жизнь в этих цветах. Вот кашляет 15-летняя старуха: с пяти лет стан ее в оковах. Как плодоносное дерево, которого корень стеснен в небольшом горшке, не образовавшееся еще, дало довременные

плоды, так она в 12 лет уже испытала все страдание, пролила все слезы любви.

Но пусть пользуются эти люди мнимым, искусственным счастьем, если нет у них настоящего. Говорят, что счастье живет притаившись, припав к чьей-нибудь груди.

Природа ни для кого не была мачехой, никого не обидела в разделе земного блага: в пирог с кашей столько же поместила она наслаждения, сколько и в страсбургский пирог. Равны для нее люди, каждому задала она работу и сказала: трудитесь! по данному мною плану вы строите для себя же вечную, светлую обитель; кто не участвует в труде моем, тот не найдет в ней места, останется вечным грустным, бесприютным скитальцем; будет томиться земным голодом, и не будет уже земной пищи, будет сторать от земной жажды, и не будет уже земного упоения.

Вот Елена в блистательной толпе большого света. Лорнетки влекут призрак ее во все стороны. Ее взоры еще робки, как вольные птицы, мелькают, извиваются, как ласточки.

Но злой дух взмахивает уже серебряным крылом, впился очами в красоту Пери — дух

света; он стережет, когда музыка повторит второе колено кадрили и кавалер с поклоном выпустит ее руку из своей руки. Он не пропустил этого мгновения: не успела еще Елена сделать шаг назад и вздохнуть от усталости, он порывисто уже мчится к ней, прожигает себе путь сквозь толпу, протягивает к ней руку в лосиной перчатке, произносит резко: *mademoiselle, plait-il?*[7] и несетя с нею в водоворот мазурки, прищелкивает шпорами, вбивает каблуком гвозди в паркет; то схватит руку Елены правой рукой, мчится, вскидывая на воздух левую, то обвивает ее стан, перекидывает на левую руку и, кружась вихрем, бьет такту шпорами, то, выпустив снова из рук, водит летучую деву по кругу, как берейтор какую-нибудь молодую симфонию, и между тем оттирает платком лицо свое, на котором поры обратились в артезианские колодцы.

Сколько меркурия сублимата в его словах, сколько опиума, которым Гассан поил правоверных, чтобы во время усыпления показать им искусственный рай.

Неопытность всему верит. Верила и Пери

словам Дива. Ему нужна была только ее душа, только благоуханные соты девы.

Что делать юной лани, когда она томится зноем, жаждет упоительных вод? Туман растилается по долине, стоит, как озеро; невидимые сети стелются по обманчивым берегам его. Юная лань, никем не руководимая, никем не предостереженная, стремится с горы к призраку вод, падает в тенеты, и с этой поры она в руках ловца.

Нужно ли описывать доверчивость Пери, которая не знает еще жизни и в первый раз слышит приманчивые звуки злого духа? Он завлекает деву, чтобы зачекотать ее и потом оставить в темной страшной глуши. Там блуждает она, как звезда, потерявшая свой свет и свое место на небе. Ее душа, как птенец, издыхает в разбитой скорлупе: ей не живет в обезображенном теле.

Между тем Ксаверий Астафьевич, казалось, влюбился в Северина, отпустил его от себя с тем, чтоб он на другой же день обедал у него. Его ласки, однако ж, похожи были на ласки должника, который заговаривает своего заимодавца, чтоб не дать ему произнести

слова о долге, чтоб он, выходя от него, подумал: "Какой прекрасный человек Ксаверий Астафьевич! право, такому человеку совестно напомнить о деньгах!" Оно так и было: Северин забыл о тысячах. "Что тебе в богатстве, если ты возьмешь его и расстанешься с Еленой!" — говорило ему сердце.

Северин почти каждый день у Ксаверия Астафьевича. Каждый день видит Елену, говорит с нею. Он уже влюблен в нее страстно, доверчиво, перед ним еще нет ни надежды, ни безнадежности, он еще смотрит на нее, как на святыню, не помышляет еще о взаимности, любит ее, как соловей розу Кашемира, он не отлетал бы от нее, пел бы:

"Заря, осыпанная перлами и рубинами! Изумруды садов при появлении твоём сбрасывают с себя черный покров ночи; и я, при появлении девы, питаюсь перлами ее уст и согреваюсь лучами очей!"

Северин только еще радовался, что встретил ее, он еще всматривался в красоту Елены.

Первое чувство любви — весна природы, семя, брошенное взглядом на сердце; быстро

дает оно отпрыск. Холодные вьюги, не пронеситесь мимо его! пусть возрастет, даст цвет... благовонную ли розу Ширазскую, соперницу румяной зари, которую любят воспевать соловьи и поэты, или пурпуровую розу Китая, без аромата... цвет ли банана, юную надежду на сладкий плод, или колючее терние, ядовитую ягоду, которая потушит румянец и свет очей, убьет радости сердца, охладит уста и душу?..

Но однажды, на балу у одной из тетюшек Елены, в Северине вдруг превратилось тихое, счастливое чувство любви в чувство мучительное, излечимое только взаимностью. Он не мог равнодушно смотреть на одного усатого гвардейца, который как монополист овладел общим сладостным правом танцевать с Еленой. Как ни подойдет Северин к Елене, один ответ: я танцую. С этой минуты в Северине родилось желание, чтоб Елена хоть сколько-нибудь переменилась в отношении к нему, чтоб показала хоть ненависть, если не любит, чтоб *быть* или *не быть* вместе с ним — не казалось ей одним и тем же, чтоб хоть исподтишка всматривалась она в него, вслушивалась в его речи, чтоб хоть один раз

в день пропела его любимый романс без просьбы и никогда не отказывалась петь, когда он ее просит.

Время проходило; весна любви была бесцветна для Северина.

"Она еще дитя, ей непонятно чувство любви", — думал он, вздыхая глубоко, и, забывшись, часто устремлял на нее задумчивые взоры. Ксаверий Астафьевич замечал это и тайно улыбался. Однажды Северин сидел подле старика, которого болезнь увеличилась. Северин задумался.

— Об чем вы так призадумались, милый мой? Признайтесь, что за горе у вас? Право, я готов принять в вас участие, как в сыне.

Северин весь вспыхнул от неожиданного вопроса, затрепетал, как преступник, пойманный на месте преступления.

— Послушайте, милый Северин, мы были истинными друзьями с вашим родителем, я давний его должник и желал бы заплатить долг с процентами. Некогда мы шутя обещали друг другу: если у одного родится дочь, а у другого сын... утвердить нашу дружбу союзом детей. Теперь есть возможность исполнить

это... Если вы желаете иметь во мне второго отца, а в Елене добрую жену, то я теперь же обнял бы вас как сына.

Северин готов был броситься в объятия Ксаверия Астафьевича, однако же удержал порыв радости и сказал ему:

— Сердце детей не всегда покорно выбору родителей: я могу не нравиться вашей дочери.

— О, выберите только меня в посредники, и я буду надежным ходатаем за вас у ее сердца.

— Нет! того, кто после просьбы может приказать, я не выберу моим ходатаем в деле, где от доброй воли зависит счастье целой жизни.

— Неужели вы полагаете, что я единственно по вашей склонности к моей дочери и по одному моему желанию вздумал бы решить ее участь? Нет, милый мой, я соображаю и с чувствами Елены; от меня они не могли скрыться. С тех пор, как вы посещаете нас, я не узнаю Елены; с нее как будто рукой сняло детскую веселость, часто сидит она задумавшись, в ней проявились все признаки любви: слепота, глухота и немота.

Северин задумался, он поверял мысленно слова старика; ему хотелось вполне ему верить, но не смел ему верить.

Возвратясь домой, Северин провел ночь без сна; завтра решится его участь... сердце тосковало. Когда надежда сомнительна, нам страшно мгновение, разрешающее участь. Пусть бы длился этот мрак, в котором носится любимый призрак наш.

На другой день Северин шел в дом отца Елены и готов был умолять его, чтоб он подождал спрашивать согласия дочери своей. Но судьба и Ксаверий Астафьевич уже распорядились. Подле кресел его стояла Елена, бледная, с опущенными очами, из которых катились слезы.

Едва Северин показался в дверях, Ксаверий Астафьевич протянул к нему руку.

— Обоймите меня, Северин Петрович, — произнес он. Северин едва устоял от радости; он бросился в объятия старика, который, взяв руку дочери, сложил с рукою Северина. Северин чувствовал холод дрожащей руки Елены.

— Вот вам рука моей дочери! — продолжал старик. — Мои заботы об ней вознаграждают-

ся исполнением единственного моего желания устроить ее будущность при жизни моей и назвать сыном такого человека, как вы. Мне недолго уже жить... Елена, обними меня... твое доброе сердце стоит счастья, которое я тебе избрал, соображаясь с собственным твоим сердцем... Дети, обнимите меня!

Елена упала в слезах на грудь отца; Северин приклонился также к старику, но в душу его запала какая-то грусть: ему больно было смотреть на слезы Елены. Отчего, думал он, спокойствие ее возмутилось? может быть, болезнь отца? неожиданная перемена?

Все должно иметь весну; любовь и счастье также должны иметь весну; без весны грустно, без весны чего-то вечно недостает... недостает наслаждения, недостает благоухания, свежести, теплоты, недостает какого-то блаженного чувства, которое не заменишь всеми восторгами будущности, ни пышным цветом лета, ни плодами осени. Этой-то весны не доставало для счастья Северина; он еще не насладился ни одним взаимным взглядом Елены и мог уже назвать ее своею.

— Поцелуй жениха своего, Елена, — сказал

отец.

И этот первый поцелуй без стыдливого румянца... без волнения в груди, что в нем! и это вы жениха и невесты, это грустное вы, при котором не смеет вырваться в один голос: я люблю тебя! О, положение Северина было горько! Старик торопился свадьбой; он, как корсар, заботился скорее сковать невольников, чтоб не разбежались.

В тот же еще день ввечеру собрались к старику несколько пожилых его приятелей. Северин был представлен им как будущий его зять. Елена была нездорова, и потому Северин принужден был поневоле разделять пошлую беседу подле глубоких кресел, в которых лежал Ксаверий Астафьевич и охал от боли. А так как всякий об том говорит, что у него болит, то в общий разговор был о разных средствах и способах лечения: один советовал гомеопатию, другой магнетизм, третий электричество, четвертый паровые ванны, пятый советовал полечиться симпатическими лекарствами.

— Попробуйте, Ксаверий Астафьевич, это невинное средство, — сказал один худощавый

старец, — за все прочие средства не ручаюсь, а за симпатию поручусь головой. У нас в приходе живет женщина, которая нашептывает в платок; что бы ни болело — все равно: стоит только перевязать этим платком больное место. Да у меня в глазах жена вылечилась. Болели зубы, ни дня, ни ночи покою! Вот и сказали ей про эту женщину. Что же вы думаете, послали к ворожее новый платок, она что-то пошептала в него, завернула и велела бережно нести домой. "Не рассыпь, — говорит, — дорогой или как будешь разворачивать". Вот и принесла горничная к жене; только что подвязала она зубы — как рукой сняло!

— Бог знает, верить или не верить этому. В старину много водилось чудес, теперь перевелись, а перевелись от безверия.

— О, вера больше всего помогает. А скажи теперь молодежи про это, поднимет на смех. Да вот я заметил по лицу Северина Петровича, что он не верит в симпатию.

— Признаюсь, я верю в пользу всевозможных средств, но не верю в колдовство и шепот старух.

— Теперь вообще не верят чудесам, Севе-

рин Петрович, однако же больше нежели когда-нибудь употребляют чудные и неизъяснимые средства лечения. Например, что такое гомеопатия? Хотят уверить, что в капле можно утонуть точно так же, как и в море.

— Я не буду вам толковать силу дециллионной части, но мне кажется, что зажигательное стекло всю силу целой массы солнца соединяет в одну точку, ибо эта точка может сжечь алмаз.

— Позвольте, позвольте, а магнетизм? этот искусственный сон, делающий человека всеведующим?

— Я не верю в сны, — отвечал Северин.

— О нет, этому верьте, — подхватил тучный сосед его. — В сны верили все греческие мудрецы.

— После этого греческие мудрецы заставят верить и в привидения.

— А как же? Вы не верите явлению духов?

— Ох! мне кажется, что это может быть, — сказал, вздыхая, Ксаверий Астафьевич.

— В истории сохранилась тьма примеров. Младший Плиний рассказывает, что в доме его водился домовый, который каждую ночь

приходил брить бороду слуге его.

— А магия, черная магия, вызывающая духов? *следственно*, она была наукой; и это исторически известно, что магия была в числе таинств египетских. *Следственно*, я сейчас расскажу вам происшествие, которое случилось с известным философом Греции — Евкратом.

Еще в своей юности, когда он жил в Египте, куда отец послал его для изучения наук, однажды вздумалось ему проехаться по Нилу до города Копта и, *следственно*, посмотреть там славную статую Мемнона, издающую при восхождении солнца чудные музыкальные звуки. Во время поездки по Нилу случился между спутниками его гражданин Мемфиса, один из посвященных мудрецов в таинства священных познаний. Об нем рассказывали, что он жил 23 года в подземных святилищах Изиды, и, *следственно*, Изида и открыла ему чудеса магии. Прозывали его Панкратом. Сначала Евкрат не имел понятия, до какой степени могут простираться силы магии, но когда он увидел, что Панкрат всякий раз в полдень, чтоб прохладить себя от жара, бросался во

всем платье в Нил, отдышал на прохладном дне реки, догонял потом судно верхом на крокодиле и выходил из воды весь сухохонек, *следственно...*

— Позвольте, позвольте!.. — вскрикнул один внимательный слушатель. — Извините, что перерву рассказ ваш... Мне кажется, что спать в воде можно и без посредства магии, потому что у нас простые колдуны мельники это делают. Вы мне напомнили один случай. Я еще был мальчиком, когда отец мой, отправляясь по должности на Мелекесские винокуренные заводы, взял меня с собою. Как теперь помню посреди страшных лесов большую мельницу и *став* несколько верст в окружности... ужас! извините... я невольно содрогаюсь, когда вспомню эти места и *чувашей*, которыми меня пугали... Насмотрелся я на чудеса! Вообразите себе, там был мельник... как вы думаете? бывало, возьмет подушку, да и в омут, и спит себе в воде часа два, три... Выйдет оттуда и как будто ни в чем не бывал...

— Так вот-с... — начал было рассказчик египетской повести...

— Извините-с, сейчас кончу... Этого мало; бывало, пустишь в ход все поставки да велишь глаза закрыть, чтоб не испугаться... Чудеса, да и только!.. Все колесы до одного заскрипят плясовую песню, жернова точно как вприсядку пляшут, а шестерня в лад прищелкивает... Но если б вам порассказать все, что он делает и чему я сам был свидетелем, никто не поверит!..

— Так вот-с... — продолжал первый толстяк, который с сердцем и с нетерпением ждал, когда кончится рассказ, прервавший его повесть...

— Извините меня, еще одно слово... Представьте себе, что в мучные анбары без него никто не смел ходить: крысы заедят... заедят!..

— Так вот-с, — произнес наконец тучный господии решительным тоном. — В Евкрате родилось желание короче познакомиться с этим дивным человеком. Вскоре он в этом успел, сделался его другом, научился у него многим тайнам. В Мемфисе он предложил Евкрату оставить всех своих слуг. "Это излишняя тяжесть, — говорил он, — и мы, след-

ственно, обойдемся и без них". И в самом деле, каждый раз, когда останавливались они в гостинице, Панкрат брал веник или помело, надевал на него платье, произносил какие-то магические слова, и помело начинало прислуживать; никто не сомневался даже, что оно было не человек.

Этот чудный слуга всегда приносил им свежей ключевой воды, готовил кушанье, прибирал в комнате и, *следственно*, вообще служил с необыкновенной расторопностью и ловкостью. Когда же не было в нем необходимости, то Панкрат посредством таинственных слов снова обращал его в первобытный вид, в веник или помело. Как ни хотелось Евкрату узнать тайну подобного превращения, но никак не мог он успеть в этом. Египтянин скрывал ее. Однажды, засев в темный угол и, *следственно*, так, что Панкрат этого не заметил, Евкрат подслушал заклинания: это было слово, состоящее из нескольких таинственных букв.

На другой день, когда Панкрат пошел на торжище, Евкрат, нарядив помело в свою одежду, произнес магическое слово и прика-

зал помелу принести воды. Помело пошло за водой, принесло воды и снова отправилось за водой. "Постой! — кричал Евкрат. — Довольно уже воды, больше не нужно!" Но помело не внимает ему, знает себе носит да носит воду и, *следственно*, затопило бы весь дом. Евкрат испугался; не зная, что делать, схватил он топор, перерубил помело надвое; глядь — оба конца берут по ведру и начинают снова носить воду. Евкрат сзывает домашних людей, чтоб уняли водолеев. Все бросились на них, ухватили за платье, за руки, за ноги, а так как водолеи было помело, то, *следственно*, растянули его на части по пруту; глядь — прутья подхватили клочки одежды, накинули на себя, вбежали к бочарю, жившему по соседству, растащили у него все ведры и коромысла, пошли за водой на реку, носят воду. Евкрат со страха, убоясь мщения Панкрата, скрылся; народ пал на колени и просил Изиду и Озириса, чтоб они взяли двух водолеев обратно в зодиак небесный и, *следственно*, спасли бы город от потопления. К счастью, пришел Панкрат, понял, в чем дело, и унял водолеев, обратив их в помело.

— О, это древнее чудо! — вскричал Ксаверий Астафьевич.

— *Следственно*, видите, господа, о каком происшествии упоминает древность. Это мне рассказывал человек достоверный, читавший древнюю греческую рукопись.

— Напрасно вы так подробно рассказывали эту греческую басню, ее можно короче прочесть у Гете, — сказал Северин.

— Басню, вы полагаете? *Следственно*, вам покажутся невероятными и чудеса, которые делал Брюс? Однако ж мой дед собственными глазами видел *песчаного человека*, и, *следственно*...

— Пожалуйте расскажите, я что-то слыхивал про это, да не верится...

А вот видите... Должно знать, что дед мой был в денщиках у Петра Великого. "Ну, Филат, — сказал он однажды ему, — поедем-ка к колдуну Брюсу". У моего деда так и затряслись поджилки. Как это, думал он, *следственно*, его величество едет к колдуну? Приехали к Сухаревой башне, вошли под самый шатер; вдруг показался из другого покоя высокий, бледный, тощий человек и поклонился низко

государю. Дед мой так и вздрогнул, как увидел сквозь дверь скелета да разные каббалистические инструменты. Только что государь вошел в комнату, двери захлопнулись, заперлись на ключ. Мой дед, как ни боялся колдуна, подкрался, однако же, на цыпочках к двери, прислушивается... говорят что-то непонятное, *следственно*, на тарабарском языке. Потом государь Петр Великий громко сказал: "Ну, Брюс, велика своему *песчаному* сварить мне кофию". — "Сейчас, ваше величество!" — отвечал Брюс. Не прошло минуты, вдруг слышит дед мой, что идет *песчаный человек*, стучит стопами об пол.

— Здорово, *песчаный!* Что твоя голова? — спросил государь.

— Болит, государь, точно как будто кто булавку воткнул в темя, — отвечал *песчаный человек*.

— Славный кофий! Ай да *песчаный!* — сказал государь и с этими словами встал с места, и, *следственно*, дед мой отскочил от дверей и ничего уже не слышал, что происходило потом... Однако ж из этого вы можете видеть, что анекдот известный про Брюса, что он де-

лал из песку людей и оживлял их, втыкая в голову булавку, действительно справедлив...

— О, я верю, что у Брюса был денщик Песчаный, которого, однако же, верно, не он сделал, — сказал Северин.

— Как угодно, так и думайте; но я полагаю, что вы также слышали, что в шатре Сухаревой башни есть комната, в которой волшебные книги Брюсовы залиты свинцом. Это так верно, как я сижу на этом месте, и, следовательно, удивительно ли, что Брюс, зная черную магию, делал людей из песку и оживлял их, втыкая магическую булавку в голову.

— Достоверность, конечно, и в этом есть. Но я вам и забыл было рассказать чудное событие с моим шурином; уж этому я, живой человек, свидетель. Прежде всего должно сказать вам, что в южных губерниях отдаются деревни на посессию. Вот шурин мой и взял одну деревню на посессию и сверх того купил заочно в этом же имении лес на вырубку, так дешево купил, что и сказать нельзя. Объехав имение, он порадовался покупке: огромный лес над самым Бугом!

"Ну, ребята, — сказал он, собрав весь мир

сельский, — надо приниматься рубить рощу, чтоб успеть к зиме отправить водою в Одессу". — "Как можно, пане? — отвечают ему староста и старики, — да в этом лесу отцы наши сука не срубили, и мы не срубим". — "Как?" — "Да так, лес заповедный". — "Заповедный или незаповедный, а он мой". — "Какой твой, то панский лес". — "Да я купил его у пана". — Купил у пана грабе,[8] да не купил у *Каменного пана*". — "*У какого Каменного пана?*" — "А что, люди говорят, стоит на высоком холме *модла его пиреная*[9]". — "Что за *модла пиреная?*" — "Да, примером сказать, чортов болван, красный; отцы наши носили ему десятину волею, а мы неволею носим со скота, с дворовой птицы, с посева, с печеного хлеба, масла, молока, словом единым, со всего; продашь ли что в городе, со всего неси долю десятую, а не понесешь десятую, весь хлеб погорит, весь скот опаршивеет, у всей птицы типун на языке сядет, вместо молока у коров сукровица, куры начнут кричать петухом, а уж то не добро, пане".

Шурин захохотал, услышав про эти чудеса. "Ну, — сказал он, — с этого дня не будем пла-

тить болвану десятины". — "Бог ведает, боярин, — отвечает ему, — лучше бы ты оставил добром чортов лес да послал от себя в дар *модле пиреной* пары две коров из стада; уж были у нас такие два ксендза, что стращали выжить *Каменного пана* с холма, да не рады были жизни своей". — "А что же сделалось с ними?" — спросил шурин. "И сказать не можно". — "Говорите!" — "Не можно, никак не можно, пане!"

"Плутовство!" — думал шурин мой. И на другой же день приказал он отправиться всей деревне с топорами рубить рощу.

Вечеру староста со всем сельским миром пришел к нему, все охают.

— Измаялись, боярин, топоры притупились, переломались, а дерева не срубили: железо, да и только! а сами руки не поворошим, словно кто кости перебил...

"Мошенничество!" — думал недоверчивый мой шурин. — Завтра сам я еду, будете при мне рубить!

— Как изволишь, ни сил, ни мочи, ни топоров нет, — отвечают ему.

В самом деле, у всех топоров до одного лез-

вие, как обух, тупо.

— Коня! — вскричал мой шури́н на другой день, но вдруг приходят пастухи, бросаются ему в ноги. — Что такое? — Стадо панское ушло за черный яр, сгинуло, да пропало! — Как пропало? — Пропало; люди говорят, оттуда возврата нет. — Коня! — повторил мой шури́н вне себя, — все за мной верхами!

Все бросились в ноги. — Помилуй ты нас, отец родной! *Модла* всех нас передушит.

Не слушает шури́н, велит подавать коня. Конюхи бросились в конюшню... Ни один конь в руки не дается... не подпускает... бьет и задними, и передними. Поднялось страшное ржанье. Все вон из конюшни.

Как шури́н мой ни был недоверчив ко всему сверхъестественному, но призадумался: не знает, что делать. Настал вечер, страшно стало ему одному в огромных покоях панского дома, но, преодолев страх, лег он спать... Вдруг, около полночи, слышит... что-то идет по комнате, точно как огромный камень... с места на место переступает, пол так и трещит, на дворе старый пес залаял, потом завыл.

Не успел шурин мой дернуть за колокольчик, чтоб кто-нибудь пришел... вдруг точно гора упала и сдавила его своей тяжестью...

С этой минуты он уже ничего не помнил.

В страшной горячке и в бреду только и слышно было от него: вот, вот он, *Красный каменный пан!* Ох, да помолитесь ему, чтоб не сжег меня! скажите, что я дам ему десятину со всего!..

Выздоровев, он стал молчалив, ни с кем ни слова, только одно повторял: скорее, скорее собирайтесь в дорогу!

Нечего было делать, собрались, уехали; деньги, отданные за посессию и за лес вперед, пропали.

Долго не говорил он нам причины, по которой оставил посессию. Наконец года через два, поправившись совершенно, с ужасом рассказал он все случившееся с ним в том виде, как имел я честь изложить. Согласитесь же сами, тут есть что-то сверхъестественное?

— Так много сверхъестественного, что я полагаю большую часть из всего этого бредом горячки! — сказал Северин.

— Вы, я вижу, рождены с тем, чтобы ниче-

му не верить; вы не верите даже в симпатию? — сказал рассказчик.

— Вы ошибаетесь, я верю в симпатию душ.

— А! так вы верите в симпатию любви? верите в то, что испытали сами, верите, что между вами и невестой вашей есть какое-то сродство душ?

Северин вспыхнул, не знал, что отвечать, как будто эти слова показались ему колкой насмешкой.

— Отчего же вы не верите симпатии лекарств, снам и привидениям? Привидения также есть явления симпатии; душа бессмертна, она может и за гробом любить и не любить.

— Ох, это правда! — произнес, вздохнув, будущий тесть Северина. — Прежде я и сам не верил снам и тому, чтобы люди после смерти навещали тех, которых любили в жизни, но теперь верю, верю непреложно. Вот уже две ночи покойная жена моя является мне, и я недаром заболел...

— Каким это образом?.. Полноте, Ксаверий Астафьевич, это воображение, что вы это придумали? Возможная ли это вещь? — вскрича-

ли все верователи в привидения по очереди, желая разуверить старика.

— Нет, не придумал... не воображение, — продолжал старик. — Две ночи сряду садовник видел женщину в саване, которая входила в самую полночь в дом, между тем как дверь в сад заперта внутри... Жучка бросалась было на нее с лаем, но только что подбежит... вдруг начнет ластиться и визжать от радости. Покойница любила ее, да и садовник сказал: "Ну вот, словно покойная барыня, сударь..." Я бы и не поверил ему, если б и сам не видел... Только что заснул вчера, вдруг покойная жена подходит к постеле моей... вот как теперь смотрю на нее... в любимом моем капоте с фалбарой да в чепчике с алыми лентами, а в руках ридикюль да носовой платок; подошла да и говорит: "Где, мой друг, моя золотая табакерка? дай понюхать хоть своего табачку". Я было схватился под подушку достать табакерку, глядь, она исчезла; меня так и обдало ужасом, до утра не мог глаза сомкнуть...

— Да это просто сон, Ксаверий Астафьевич.

— Нет, сударь, не сон. Во сне человек не говорит, а я, как теперь, слышу ее слова. Мы

дружно жили. Бывало, покойница говорит: "Смотри же, мой друг, как умру, душа моя придет навестить тебя и дочь..." Вот и исполнила слово свое! О, меня никто в этом не разуверит.

— Если привидение являлось две ночи сряду, то должно явиться и в третью ночь, — сказал Северин, — так водится у привидений. Позвольте мне провести эту ночь в вашем саду: если садовник мог видеть привидение, то и я, верно, буду столько же счастлив.

— Пожалуй, мой друг, я не препятствую твоему странному желанию; к чему только это послужит?..

— Полноте, Северин Петрович, оставьте, милый, ваше намерение. Вы знаете, какие несчастные случаи бывали от испуга: покойник не то, что живой.

— Живые страшнее покойников, — отвечал Северин. — Притом же мне хочется посмотреть на ходящих покойников.

— Нам, я вижу, не отговорить вас; но если б знала об этом намерении ваша невеста, достаточно было бы ей нежно взглянуть, чтобы вы поверили всему на слово.

— Я, однако же, прошу, чтоб об этом никто не знал до завтра, — сказал Северин.

Все дали слово хранить молчание.

— Кстати, рассказал бы я вам случай с одним из моих знакомых, но уже поздно, одиннадцать часов, а в полночь вам должно быть на стороже.

И гости Ксаверия Астафьевича пожелали ему покойного сна, а Северину бодрствования, обещая на другой день приехать осведомиться о последствиях его предприятия.

Когда все удалились, кроме Северина, Елена вошла в комнату.

— Прощайте, батюшка, — сказала она тихим голосом, целуя руку отца.

— Покойной ночи, милая Елена! — произнес старик. — Что это? ты как будто не в себе? нездорова, мой друг?

— У меня ужасно голова болит, я хочу раньше лечь, — отвечала Елена. — Прощайте! — прибавила она, обратясь к Северину.

Северин поцеловал у нее руку.

— Поцелуй его, мой друг, как должно; что за церемония между женихом и невестою.

Но Елена уже скрылась.

Северин остановил взоры на дверях и вздохнул.

— Она, бедная, что-то очень нездорова вот уже третий день.

— Прощайте, — произнес Северин почти таким же томным голосом, каким сказала это слово Елена.

— Куда? домой?

— Нет, — отвечал Северин, удаляясь.

Добрый молодой человек, — заговорил сам с собою старик, охая от боли. — Елена, однако ж, кажется, не любит его... Оно и не удивительно: армейские мундиры не в силе в столице. Разумеется, что девушке хочется, чтоб муж, кроме молодости и ловкости, имел также и богатство, и вес в свете, ну а Северин хорош, да прост: все состояние его в моих руках, жених, а поневоле пешком ходит и носит старенький мундирчик. Я бы и не выдал за него, да сто тысяч отдать в чужие руки! избави Боже! да это все, что я скопил на приданое дочери. Конечно, если б минул десятилетний срок заемного письма... я бы даже медлил свадьбой... потихоньку дело бы разошлось, срок бы между тем прошел... О, тогда от моей

бы воли зависело!., стал бы платить частицами... кто бы меня принудил!., а теперь, избави Боже, отступится сам, да протестует... Ох! Бог знает, что в голову мне идет... Ай! что это? Господи, Иисусе Христе!.. Покойная жена из головы не выходит, так и кажется, что идет за мной...

Свалившийся нагар с ночника вдруг осветил комнату и был причиною испуга старика, но он скоро забылся беспокойным сном.

Между тем Северин, вместо того чтоб идти домой, пробрался тайно в сад и скрылся за кустом синели подле самого крыльца. Ночь была лунная, но темная; густые облака заволочили небо, городской шум утих, не мешал соловью заливать между столетними деревьями старинного сада; только изредка проносился зыблущийся стук дрожек. Это было время кипения страстей в большом свете, время, которое мирит красоту с безобразием.

Северин не сводит глаз с каменной лестницы, боится, чтоб привидение не промелькнуло даже во время мгновения ока. Он уже теряет терпение, внутренно смеется сам над собою, что хочет видеть наяву сны суеверных.

Но вот эмблема *Софии Премудрости*, превращенная в сову, захлопала крылами на соседнем дереве и уставила горящие очи на Северина; в глуши что-то взвыло, струя холодного ветра зашелестела листьями... что-то щелкнуло, как будто ключ повернулся в замке... Северин вздрогнул... ему показалось, что двери, ведущие в сад, отворяются... Луна выкатилась из-за тучи, из дверей появилось что-то похожее на привидение... на привидение, не отжившее еще на земле.

Это было *не покойное существо*, ибо оно беспокойно осматривалось во все стороны: нет ли кого живого?., тихими шагами спустилось с крыльца, чуть прикасаясь к земле, понеслось вдоль крытой аллеи. Едва переводя дух, Северин крадется по опушке между деревьями вслед за ним.

В конце аллеи, из густой клумбы появилось другое привидение; но это было мрачно, как дух-соблазнитель, окутанный в ночь.

— Елена! — произнесло оно шепотом. Северин это слышал.

Оба привидения слились в одно, исчезли в глубине деревьев и ночи.

Северин это видел.

Глухой стон вырвался из груди Северина. Он сложил руки на груди, прислонился к дереву, стиснул очи, как будто весь мрак и все прошедшее озарились перед ним яркою молнией.

Вот и счастье! Любишь, любишь, любишь... и вдруг — нельзя любить.

В этом положении, опустив голову на грудь, Северин без мыслей, без памяти, простоял до восхода солнца, которого первый луч блеснул на слезе его, скопившейся под зеницею.

Лай собаки вывел его из этого беспмятства; преследованный ею, он шел по аллее к дому.

Может быть, это сон, блеснула мысль в душе его... Он приблизился к крыльцу... Двери отворены.

— Нет, не сон! — произнес он решительно и, переломив грусть свою, вошел в комнату.

Ксаверий Астафьевич уже проснулся. Человек, посланный от него, встретил Северина и просил в спальню к барину. Бледный вошел к нему Северин.

— Что с тобою сделалось... Северин Петрович? — произнес старик. — Ты видел!..

— Видел, видел! — отвечал Северин глухо, задыхаясь от прилившей к сердцу крови, и как изнеможенный бросился на стул, закрыв лицо руками.

— Полно, мой друг, да не-уже-ли покойница?.. Полно, мой друг, мы шутили... Возможное ли дело, чтоб покойницы являлись.... тебе показалось со страха... слышалось.

— Нет, не показалось, не слышалось! Прощайте! — вскричал Северин, вскочив с места. Он сжал старику руку и вышел скорыми шагами вон.

Старик остался в недоумении и ужасе: он как будто видел уже перед собою и смерть, и все разрушенные планы свои.

В этом положении застали его все приятели, приехавшие узнать о последствиях предприятия Северина, — Ну что? Ксаверий Астафьевич, каково провел ночь? Где же храбрец Северин? А? что с тобой?

Старик не отвечает, мутными очами смотрел он на всех; наконец, как будто получив слабое употребление языка, промолвил:

— Дочь мою позовите ко мне!

Слуга бросился в комнату Елены. Девушки забегали. В доме поднялась суматоха.

— Где барышня? — спрашивают все друг у друга.

— Елена! — повторил старик.

— Пойдемте, господа, — прошептали друг другу приятели Ксаверия Астафьевича. — Пойдемте! здесь не будет добра. — И все, один за одним, на цыпочках выкрались из спальни... Они поступили по турецкой пословице: "Во время беды ищи двери".

Прошло около двух лет, во время которых вспыхнувшая новая война открыла Северину путь к почестям. Но Северин не искал почестей; он был мрачен, равнодушно смотрел на жизнь. В битвах шел он на видимую смерть как в объятия друга, но и смерть, как привидение сада, бежала от него.

После кампании полк его расположился на временные квартиры в одном из местечек Каменец-Подольской губернии.

Однажды грустный, полный воспоминаний, ходил он по местечку. Столпившиеся

близ корчмы уланы и народ обратили его внимание.

— Что такое?

— Да вот, ваше высокоблагородие, дурочка; а как важно поет да пляшет.

— Ну-ко, спой еще, Аленушка!

Дурочка запела:

*Зовут меня Аленушка,
И сиротинка я;
И далека сторонушка
Родимая моя.
Как птенчик, сер воробушко,
Упала я с гнезда,
Скатилась, словно с небушка
Падучая звезда.*

Ужас пробежал по членам Северина, когда он взглянул на Аленушку. Это была девушка лет осьмнадцати, бледная, со впалыми очами, в рубище, длинные волосы висели почти до колен, на руках держала она как будто младенца, завернутого в платок.

"— Боже мой! Не она ли это? — произнес Северин почти вслух, пристально всматриваясь в Аленушку.

- На кусочек хлебца, Аленушка, — сказал

один из толпы, подавая ломоть..

— Не надо, — отвечала она, — дай молочка ребеночку, мне нечем его покормить: вот посмотрите сами, все высохло в груди...

Вся толпа захохотала, а в сердце Северина копились слезы.

— Попляши, так дам молочка, — кто-то сказал. Аленушка заплясала, припевая:

*Во сыром ли во бору,
Ранымь рано поутру,
Я сбирала мухоморы
Про милова моево!
Каково!
Во зеленом во саду
Я плясала под дуду,
Я ногой плела узоры,
Становилась на дыбы,
Ай грибы!*

— Нет, не она! не она! — произнес Северин, тяжело вздохнув и медленно удаляясь от толпы.

Из ближнего дома вынесли молока в чашке и подали Аленушке.

Она присела на землю, откинула платок, у нее на руках был тощий котик, она посадила

его к чашке молока и запела!

*Котенька, котенька,
Серенькой, серенькой,
Изогнулся кот кольцом,
Лапу поднял костылем.
Моется котенька,
Ластится серенькой,
Кот мурлычет, кот поет,
Кот гостей нежданных ждет.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Повесть была напечатана в сборнике «Повести» (1836, 1837). В. Г. Белинский в упоминавшемся выше отзыве отмечал, что «Аленушка» заслуживает большего эпитета, нежели премиленькая.

Жанлис Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746–1830) — французская писательница. В конце XVIII — начале XIX в. переводилась на русский язык.

Шнейдер Иоганн Каспар (1753–1839) — немецкий художник.

Орловский Александр Осипович (1777–1832) — русский художник.

Берне Пьер (1780-?) — французский художник. Работал в России в 1830-1860-е гг.

Арнаутка — особый вид пшеницы.

Канава — водоотводный канал в Москве.

...*письмовник Курганова* — сборник, включавший краткую грамматику, сатирические рассказы, анекдоты, антологию русской поэзии, разнообразный познавательный материал. Был составлен и издан в 1769 г. русским просветителем Н. Г. Кургановым (1725–1796).

Затем «Письмовник» неоднократно переиздавался с дополнениями и был очень популярен.[10]

Будхах — Будда. Здесь, в ироническом смысле.

Походы в Турцию. — Имеются в виду события русско-турецкой войны 1828–1829 гг.

"Гюлистан" — поэма персидского писателя Саади (между 1203-1210-1292).

Пери — персидское слово, означающее «крылатый» и обозначающее прекрасных существ восточной мифологии. Образ пери вошел в английскую поэзию благодаря Т. Муру, назвавшему вторую часть своей поэмы "Лалла Рук" — "Рай и Пери". Ее перевел в 1821 г. В. А. Жуковский, дав произведению заголовок "Пери и ангел". Он же спустя десять лет написал свое стихотворение «Пери». Так это понятие о крылатом и добром существе вошло в русскую культуру.

Сатурналии — римские празднества в честь Сатурна, проводились в декабре.

Андроид — "механический человек", прототип робота. Его konstruировал немецкий философ Альберт фон Больштет (ок.

1193–1280). Об андроидах, используемых человеком, Вельтман рассказал в романе "МММСДХLVIII год".

Стикс — в древнегреческой мифологии одна из рек царства мертвых.

Берейтор — объездчик верховых лошадей или учитель верховой езды.

Меркурий сублимат — ртуть.

Гассан — внук мусульманского пророка Мухаммеда ибн Абдаллаха.

Дне — злой дух восточной мифологии.

Плиний Младший (ок. 62 — ок. 114) — римский писатель и оратор. Сохранились его «Письма», представляющие значительный историко-литературный интерес. *Изида* (Исида) — древнеегипетская богиня жизни и здоровья, покровительница материнства и плодородия.

Озирис (Осирис) — древнеегипетский бог умирающей и воскресающей природы.

Брюс Яков Виллимович (1670–1735) — военный и государственный деятель при Петре I, ученый, составитель знаменитого "Брюсова календаря". В народе ходили слухи, что он — колдун.

Посессия — землевладение.

Note1

компаньонки (франц.).

[^^^]

Note2

метрдетель, лакей (франц.).

[^^^]

Note3

даром (лат.).

[^^^]

Note4

моднейшей певицы (итал.).

[^^^]

Note5

его королевского величества.

[^^^]

Note6

моя дорогая (франц.).

[^^^]

Note7

мадемуазель, разрешите? (франц.).

[^^^]

Note8

графа (польск.).

[^^^]

Note9

идол каменный красный (прим. автора).

[^^^]

Note10

См. электронное воспроизведение издания 1793 года в Библиотеке ImWerden: "Книга 1. Грамматика" и "Книга 2. Литература и наука".

[^^^]